Чехов А.П. 2.07.94

15 июля исполняется 90 лет со дня смерти Чехова. Сорок лет назад, к полувековой годовщине этого дня, блестящую статью о Чехове написал Марк Алданов. Она предназначалась для американских читателей, была напечатана по-английски в нью-йоркском журнале «Рашн ревью». Недавно Российский международный фонд культуры приобрел во Франции архив Алданова, и среди других интереснейших материалов в архиве обнаружен оригинал этой статьи на русском языке. С разрешения руководства фонда мы впервые предлагаем эту статью вниманию отечественного читателя. Готовя статью к переводу, Алданов включил в свой текст цитаты из Беннета и Моэма на языке оригинала, мы их даем в русском переводе.

Алданов вполне самостоятелен в своей трактовке Чехова; противореча общепринятому в Америке взгляду, отдает предпочтение его прозе перед драматургией, спорит с советской критикой, изображавшей Чехова чуть ли не революционером. Алданов, как известно, был ближайшим другом И. А. Бунина. 1 августа 1947 г. Бунин возмущенно писал ему о книге В. Ермилова «Чехов»: «Чехов оказался совершеннейший большевик и даже «буревестник» не хуже Горького, только другого склада». Алданов в ответном письме от 4 августа развивал подобную мысль: «Он был «правый кадет» и если бы дожил до революции, то писал бы в «Современные записки» и в «Последние новости», ходил бы с нами в Париже в рестораны, а в Москве ермиловы другими цитатами доказывали бы, что он белобандит». Эта мысль из письма перешла в статью.

Читатель по-новому задумается о судьбе Чехова, о его месте в русской прозе. В облике Чехова Алданов находит те черты, которые более всего ценил в людях и которые ему самому были присущи: был «совершенным джентльменом», отличался исключительным благородством, доброжелательностью, бескорыстием, но вместе с тем крайне неохотно допускал посторонних в свой внутренний мир, держался замкнуто, не терпел амикошонства.

Большинство статей о литературе быстро устаревает, лишь немногие становятся с годами лучше, как старое марочное вино. Статья Алданова относится к таким раритетам: по ней можно учиться серьезному отношению к чтению, а нам такого отношения очень сейчас недостает, классику стали читать реже. Алданов напоминает, какое драгоценное наследие нам досталось от Чехова и шире — от великой русской литературы XIX века.

А. ЧЕРНЫШЕВ.

Марк Алданов

Культура. — 1994. — 2 июля. — С. 4.

О ЧЕХОВЕ

Эта небольшая статья, разумеется, никак не биографический очерк. На разных языках существует много биографий Чехова; первая появилась в России уже сорок лет тому назад. Мемуарная литература о нем огромна. Еще больше литература критическая. Относительно его громадного художественного таланта все давно сошлись. Лично автор этих строк без колебаний отводит ему четвертое по рангу место в русской прозе (как ни условна и ни бесполезна в искусстве табель о рангах): Пушкин и Лермонтов как великие поэты по преимуществу в этот счет не входят, сколь ни совершенны и ни удивительны их прозаические произведения; но среди прозаиков Чехов, по-моему, идет непосредственно за Толстым, Гоголем и Достоевским, впереди даже Тургенева и Гончарова.

И в рассказах, и в театре он создал свой жанр, свой ритм, свою фразу. Часто говорили о влиянии на него Мопассана, но это мнение чрезвычайно преувеличено, если и вообще верно. Часто говорили также, будто в его произведениях «ничего не происходит». Не так давно такой взгляд высказал и Сомерсет Моэм в своих в большинстве очень тонких и ценных заметках о Чехове, оставшихся неизвестными русским читателям,— критика на них не ссылалась. Знаменитый английский писатель, сам великий мастер короткого рассказа, ссылается на слова самого Чехова: «Зачем это писать, что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все». Моэм прибавляет: «Можно не сомневаться, что Чехов писал бы рассказы с изобретательным, оригинальным, напряженным сюжетом, если бы он умел. Дело не в темпераменте. Как все хорошие писатели, он знал пределы своих возможностей». Однако верен ли фактически в отношении Чехова самый упрек? Уж будто так мало сюжета в его рассказах и театральных пьесах? Так мало, в частности, по сравнению со многими писателями, которым такого упрека никогда не делают? Напомню, что в одной чеховской пьесе «Три сестры» есть пожар, дуэль и убийство— чего еще можно было бы требовать в смысле сюжета! Лишь немногие современные драматурги, в частности британские, решились бы ввести в пьесу такие происшествия, встречающиеся в жизни все же не так часто, хотя, естественно, чаще, чем поездка на подводной лодке на Северный полюс.

Литературная судьба Чехова была необычна. Он был внуком крепостного мужика, родился в бедности, в глухой провинции, в семье совершенно необразованной, отец его был грубый человек, воспитывал его сурово, часто бил. Работал Чехов в эпоху, когда в России была предварительная цензура,— он от нее терпел, хотя и гораздо меньше, чем другие русские (и не только русские) писатели, его современники и особенно предшественники. Все это могло считаться предзнаменованием для очень трудной, медленной и печальной литературной карьеры. Добавлю, что литературная критика в старой России была обычно не слишком благожелательной, во всяком случае менее благожелательной, чем критика во Франции или в Соединенных Штатах. Кстати сказать, Сомерсет Моэм, кажется, не без удовольствия цитирует слова самого Чехова: «Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю... Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором». Письма Чехова обычно шутливы по тону, его шутливость, скажем правду, иногда утомительна и не всегда так забавна, как в настоящем случае. На приведенные выше слова надо сделать поправку. Он иногда считался с критикой и, быть может, даже изредка немного повиновался ее указаниям (о чем можно порой и пожалеть). Но во всяком случае, несмотря на те «предзнаменования», его литературная карьера была исключительной по блеску и быстроте успеха. С молодых лет перед ним открываются самые видные журналы Петербурга и Москвы. Ему еще не было двадцати восьми лет, когда его первая пьеса «Иванов» была принята и с успехом поставлена в петербургском Александринском театре, одном из двух первых по рангу русских театров. Тогда же он получает очень высоко ценившуюся академическую Пушкинскую премию. Старый писатель, второстепенный классик, Григорович приветствует его восторженным письмом. Несколько позднее он становится членом Императорской академии. Литературный заработок (никаких других средств у него не было) скоро дает ему возможность очень недурно жить, содержать родителей, ездить в Европу, совершить путешествие в Азию, купить имение, долго жить в Ницце. Затем издатель Маркс приобретает собрание его сочинений и платит ему чистых семьдесят пять тысяч рублей, то есть тридцать семь тысяч золотых долларов; если принять во внимание необыкновенную дешевизну жизни в России того времени, то это составляет примерно сто тысяч нынешних долларов или даже больше. Если и не в Соединенных Штатах, то в континентальной Европе тогда почти не было — да и теперь почти нет — писателей, которые проделали бы столь успешную карьеру. Какой, например, французский писатель мог бы попасть столь молодым человеком в Комеди Франсез, так рано стать членом Французской академии, продать собрание своих сочинений на условиях, хотя бы отдаленно напоминающих эти?

За границей Чехов при жизни был малоизвестен. Помню, я мальчиком, находясь с родными за границей, узнал о кончине Чехова из немецкой газеты: «В Баденвейлере от чахотки скончался русский писатель Антон Чехов...». Заметка была маленькая, в пять-шесть строк, и вполне равнодушная. При жизни он и переводился мало. Как-то в письме он отмечает, очевидно, как «событие», что один его рассказ переведен на датский язык, и забавно добавляет: «Теперь я спокоен за Данию». Трудно сказать, когда именно началась настоящая мировая слава Чехова. В России высказывалось мнение, что его в Англии оценили в начале первой войны, когда будто бы из симпатии к могущественному союзнику «открыли русскую душу»! Это неверно. Уже в 1909 году Арнольд Беннет в своем «Дневнике» пишет о нем (запись от 26 февраля), явно как об очень известном писателе: «Все больше и больше нахожусь под влиянием Чехова и больше, и больше склоняюсь к мысли писать очень короткие рассказы в той же манере». Позднее у Беннета Чехов становится настоящим очарованием: январь 1921 года, переехав на другую квартиру, он пишет: «Вчера купил еще одно полное издание Чехова для этой квартиры. Не могу обходиться без него».

Затем Чехов признается в Англии — разумеется, преимущественно элитой — мировым классическим писателем. Никого критики не ставят теперь выше Чехова. Они пишут о его превосходстве над всеми другими мастерами новеллы. Восхищаться им — это признак хорошего тона, не любить его — выставлять себя мещанином.

Подлинные знатоки литературы, как Моэм или Беннет, оценили в нем лучшее. Что оценила большая публика, не берусь сказать. Наибольший успех имеют на Западе его театральные пьесы, хотя они хуже его рассказов, а из пьес — самая слабая «Чайка», которая, по-моему, и в сравнение не идет с «Дядей Ваней». Скажу больше: в настоящее время в Париже с успехом ставили в театре совершенно ничтожное, пустяковое произведение Чехова «О вреде табаку», которое, конечно, он сам ни в грош не ставил. При всей своей необыкновенной для писателя скромности Чехов не мог не знать себе цены. Тем не менее своей мировой славы он никак не ожидал и был бы, наверное, очень удивлен ею.

Такие же истинные его шедевры, как «Палата № 6», «Скучная история», «Архиерей», «Степь», «Душечка» (этим последним рассказом очень восхищался Лев Толстой), на Западе едва ли могли создать ему особенную популярность. Как Мольер, как Сервантес, как Толстой, Чехов одновременно писатель и для элиты, и для большой публики — это высшая заслуга. Но для большой западной публики не могут не быть несколько чужды и дух, и быт этих рассказов. Сомерсет Моэм—это уж элита из элит, и я все-таки удивляюсь, что он сразу безошибочно признал рассказ «Архиерей» «одним из самых прекрасных и трогательнейших его рассказов».

Нет двух мнений и относительно красоты его морального облика. Достаточно известно, каковы обычные или по крайней мере частые взаимоотношения в мире писателей, даже больших. Примеров сколько угодно, незачем о них долго говорить. Напомню только отношения между Тургеневым и Достоевским, который в «Бесах» в очень прозрачной и совершенно пасквильной форме изобразил Тургенева под именем Кармазинова, или же отношения между Теодором Драйзером и Синклером Льюисом. Быть может, только в политике и среди актеров отношения между видными людьми еще хуже, чем между писателями. Сам Чехов писал о русских критиках и публицистах: «Обвинения в невменяемости, в нечистоте намерений и даже во всякого рода уголовщине составляют обычное украшение серьезных статей». Конечно, он мог бы сказать приблизительно то же самое о писателях-беллетристах. Он необыкновенно выгодно выделялся на этом фоне: был и в жизни, и в литературе именно совершеннейший джентльмен. И мало кого собратья да и все вообще знавшие его люди любили и почитали больше, чем его. После его смерти это превратилось в общенациональную любовь к нему как к писателю и как к человеку.

При этом особенность, имеющая немалое психологическое значение: особой любви к людям у него не было. Он мало кого любил, да и, когда любил, то без горячности. Любовь у него тоже была в высшей степени «джентльменская». Русские письма часто заканчивались словами: «готовый к услугам» — такой-то. У Чехова эта «готовность к услугам» была гораздо больше, чем условной формой вежливости; она была одной из определяющих черт его характера. Он оказывал услуги всем, кому мог; чаще всего—писателям, так как жил преимущественно в их кругу, и, вероятно, только по этой причине: любил их никак не больше, чем других людей, скорее даже меньше. Начинающим авторам давал советы, внимательно читал их рукописи, тратил на это много времени. Нередко, быть может, надеялся на то, что из этих дебютантов выйдут талантливые беллетристы, но так же относился и к писателям, заведомо безнадежным в литературном отношении. Да и только ли это! Помимо всего прочего, он еще был «хорошим товарищем» — почти в школьном смысле этих слов. В 1902 году он сложил с себя звание академика потому, что академиком не был утвержден Максим Горький. Теперь для сколько-нибудь компетентного человека не может быть никакого сравнения между огромным художественным талантом Чехова и скромным, порой вульгарным литературным даром Горького. Но в ту пору Горький был главным его соперником по успеху, по славе, по заработку (Лев Толстой, конечно, в общий счет не шел: с ним никто и не смел себя сравнивать). Как Чехов в душе относился к Горькому, трудно сказать: письма его и разговоры в этом отношении разноречивы; и, главное, в то время Чехов уже не мог не понимать, что его письма неизбежно становятся известными, а впоследствии будут и напечатаны; он всей правды часто не говорил. Иван Бунин, наш единственный Нобелевский лауреат, друг и любимец Чехова, говорил мне, что Чехов Горького совершенно не выносил. Некоторые письма этому противоречат, но думаю, что в общем Бунин был близок к истине. Как бы то ни было, для принятого им в 1902 году решения было совершенно достаточно того, что Горький был писатель, «товарищ» и что в академическое дело тогда была замешана политика.

Никто из его критиков и биографов (даже твердокаменные большевики) не утверждал, будто Чехов «призывал к революции»: это было бы уже слишком глупо. Чехов умер в 1904 году, сорока четырех лет от роду. Если б не чахотка, он мог бы дожить до советской революции. Тогда, по всей вероятности, оказался бы в эмиграции и писал бы в наших зарубежных изданиях. Если б уехать за границу ему не удалось, то, думаю, не писал бы ничего: при его общих взглядах, при его глубокой порядочности, при его любви к свободе, в особенности к свободе духовной, при его необычайной художественной правдивости он просто не мог бы, физически не мог бы писать того и так, как пишут Фадеевы и Эренбурги. Должно быть, занимался бы медициной — и для хлеба, и потому, что медицину любил. Но это все-таки гадание на кофейной гуще. Мы можем с уверенностью говорить лишь о том, что он писал на самом деле. На «призыв к революции» во всех его произведениях, во всех его письмах нет ни малейшего намека, как нет ничего похожего и у всех почти других русских классиков. Все они, за частичным исключением Льва Толстого (у которого «революция» была очень персональная, духовная и совершенно не похожая на конкретную, большевистскую), были в политике людьми умеренными, либеральными или консервативными: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Грибоедов, Тургенев, Достоевский, Гончаров, Островский, Бунин.

Конечно, он хотел, чтобы Россия стала свободной страной. Помню, до революции известный московский артист, светоч Художественного театра, толковал мне значение общеизвестных мечтательных фраз из чеховских пьес, даже таких, как «через двести—триста лет» или «небо в алмазах»: он «жаждал конституции». Так же почти вся русская критика в былые времена толковала и другой знаменитый, сто раз цитировавшийся отрывок из «Скучной истории»: «Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека... А коли нет этого, то, значит, нет и ничего». Не может быть сомнения в том, что Чехов хотел политической свободы, отмены цензуры, всего того, что подразумевает конституционный образ правления. Вероятно, и сожалел, что у него, как и у профессора Николая Степановича из этого его рассказа, нет «цельного мировоззрения». Тем не менее в таких толкованиях была и некоторая доля наивности: точно если б в России в чеховское время была конституция, если б у профессора была «общая идея» (его можно себе представить в немного более позднюю пору членом конституционно-демократической или октябристской партии), то не было бы всего того, что составляет сущность «Скучной истории»! Вот ведь у большевиков есть «общая идея»!

Часто говорилось и говорится, что Чехов «обличал язвы старого строя». Действительно, если не «обличал» (уж очень неподходящее для него слово), то писал о них очень много, для этого и на Сахалин ездил. Добавляю, что и такой тонкий критик, как Арнольд Беннет, именно так понимал «Палату № 6». Он справедливо считал этот рассказ одним из самых необыкновенных и страшных, когда-либо кем-либо написанных. В нем, как помнят читатели, изображен дом умалишенных в глухой провинции; в этот дом понемногу засасывается заведывавший им врач, который в него в конце и попадает уже как пациент. «Это чрезвычайно страшный рассказ, один из самых сильных у Чехова о русской бесхарактерности, неумении честно выполнять свой долг и продажности» (запись от 27 апреля 1921 года). В самом деле таких сумасшедших домов, как списанный Чеховым, наверное, нет ни в Соединенных Штатах, ни в Англии. Не знаю, были ли они там шестьдесят лет тому назад (Беннет ведь писал не в чеховское время), но ведь все-таки и здесь дело не только в этом: случай чеховского доктора едва ли можно свести только к условиям социального быта России девяностых годов и уж никак нельзя свести к особенностям русского национального характера, особенно весьма сомнительным. Да и в старой России к тому же не каждый день врачи попадали в их собственные дома умалишенных —это именно было «подводной лодкой к Северному полюсу».

И «конституция», и «обличения» могли соприкасаться с главным кругом мыслей Чехова, но они не входили в этот главный круг. И чрезвычайно трудно определить, каков этот круг был на самом деле. Некоторые писатели, как отец Сергей Булгаков, как совсем недавно Б. К. Зайцев, признавали Чехова религиозной натурой. Другие, как Евгений Замятин, держались прямопротивоположного мнения. Не раз высказывалось мнение, что Чехов имел или нашел «веру в человека». Он сам писал: «Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте». И еще: «Мое святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода». Понять это нелегко. Что такое, например, «абсолютнейшая свобода»? Почему «человеческое тело» не просто факт,— при здоровье, при отсутствии уродств очень хорошая вещь,— а «святая святых»?

К философским идеям у него было разве лишь немногим больше интереса, чем к идеям политическим. Ум, талант, вдохновение, были,— помимо своего необыкновенного таланта, он был столь же необыкновенно умен. Имел и немалую общую культуру, всегда много читал. Но такого влечения, такого интереса к человеческой мысли, как Пушкин, Тургенев, Толстой, принадлежавшие к самым многосторонне образованным людям мира, Чехов не имел. Говорил о том, что называется «концепциями», неохотно. Можно было бы привести немало отдельных цитат из него в доказательство и того, что он был религиозной натурой, и того, что религиозное начало было ему чуждо, и того, что вместо идей у него были только настроения. Автор этих строк склонялся бы к последнему взгляду, но без уверенности и с оговорками, которые вообще необходимы в суждениях о мыслях и чувствах Чехова.

Нельзя, конечно, делать писателя ответственным за слова его действующих лиц. Но этим критики часто пользуются и в некоторых случаях законно. Евгений Замятин пользовался цитатой из чеховского «Дома с мезонином»: «Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собой труд, который затрачивается человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно... Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и — я уверен в этом — правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха смерти и даже от самой смерти».

Если подойти к этим словам, как к идейному построению, то мы с огорчением должны были бы признать, что они и не очень оригинальны — тут и толстовство, и некоторые элементарные положения социалистов — и, главное, не очень убедительны: как это «сообща, миром» искать правды и смысла жизни? почему (даже и еще с «я уверен в этом») правда была бы в этом случае открыта очень скоро? почему, наконец, она освободила бы людей от страха смерти и даже от самой смерти? Чехов «сообща, миром» не делал почти ничего. В его время были философские общества, и, конечно, они приняли бы его, как желанного, дорогого гостя. Но если трудно представить себе Чехова членом политической партии или Государственной думы, то вообразить себе его на трибуне с философской беседой по образцу Владимира Соловьева или Д. С. Мережковского уж совсем невозможно. Когда Мережковский пытался разговаривать с ним на высокие темы, Чехов насмешливо предлагал выпить водки. Если он «искал», то искал один. В своей записной книжке он пишет: «Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу одиноко». Нашел же он во всяком случае немногое.

Советский критик К. Чуковский выпустил книгу: «Чехов и его мастерство». Я этой книги не видел, читал только одну главу, перепечатанную в нью-йоркской газете «Новое русское слово» (15 августа 1954 года). В этой главе он удачно подобрал факты, свидетельствующие о «великом жизнелюбии» Чехова. «Работать с людьми и скитаться с людьми, но больше всего он любил веселиться с людьми. Этого молодого, бессмертно веселого хохота юному Чехову было отпущено столько, что чуть только у него среди его тяжелых трудов выдавался хотя бы час передышки, веселье так и било из него, и невозможно было не хохотать с ним. Сунуть московскому городовому в руки тяжелый арбуз, обмотанный толстой бумагой, и сказать ему с деловито-озабоченным видом: «Бомба!.. Неси в участок, да смотри: осторожнее» — или уверить наивную до святости молодую писательницу, что его голуби с перьями кофейного цвета происходят от помеси голубя с кошкой, живущей на том же дворе, так как шерсть у этой кошки точно такой же раскраски,— к этому его тянуло всегда».

В Чехове, особенно в юности, было и это. Тут биографии даже не нужно. Достаточно прочесть такой его рассказ, как «Сирена», в котором секретарь мирового съезда Жилин сводит с ума своих сослуживцев — а заодно и читателей,— описанием разных блюд. От этого рассказа веет такой радостью жизни, радостью от простых, обыкновенных, доступных земных благ, что может спешно, все позабыв, побежать обедать и больной человек,— как и бежит в рассказе больной катаром желудка товарищ прокурора. «Палата № 6», «самая страшная вещь», чрезвычайно странный рассказ — шедевр, но и «Сирена», конечно, на совершенно другом уровне — тоже шедевр. Все же читатель, особенно иностранный, знающий из Чехова только его знаменитые, главные, рассказы и его театральные пьесы, верно, был бы изумлен, прочитав эту главу Чуковского: он такого Чехова, верно, и не представлял себе. Вот ведь и сам Сомерсет Моэм пишет: «Для Чехова жизнь подобна такой партии в бильярд, в которой никогда не удается положить в лузу красный шар, спастись от проигрыша или сделать карамболь, и, представься вам фантастический случай вплотную подойти к победе, вы почти наверняка порвете сукно на столе. Он настроен на худшее, поскольку пустые люди не преуспевают, праздные не трудятся, лжецы не говорят правду и пьяницы не бросают пить». Он в блестящей форме противопоставляет его Мопассану, который «нудно повторял вслед за своими соотечественниками, что долг мужчины тащить в постель каждую женщину моложе сорока, которую он встретит».

Да, «идейных построений», «цельного мировоззрения» у Чехова не было. Он и относился к ним равнодушно. «К несчастью, я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я еще не более полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность» («Скучная история»). Несмотря на это придаточное предложение с «хотя», не только относился к ним равнодушно, но как будто даже с насмешкой и свысока,— почти как к людям, о них пишущим. Тот же профессор Николай Степанович говорит: «Что же касается русских серьезных статей, например, по социологии, по искусству и проч., то я не читаю их просто из робости. В детстве и в юности я почему-то питал страх к швейцарам и к театральным капельдинерам, и этот страх остался у меня до сих пор. Я и теперь боюсь их. Говорят, что кажется страшным только то, что непонятно. И в самом деле, очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво невежливы. Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же неопределенный страх. Необычайная важность, игривый генеральский тон, фамилиарное обращение с иностранными авторами, уменье с достоинством переливать из пустого в порожнее — все это для меня непонятно...». Фраза остроумная. Однако не одни же все-таки дураки писали в России о «социологии, искусстве и проч.» и не все же переливали из пустого в порожнее?

«Настроения» же у него были, и самые разные, и очень часто они менялись. Жизнелюбия у него все убавлялось, вероятно, в связи с развитием чахотки. Уже лет за двенадцать до своей кончины он писал: «Жить не особенно хочется. Умирать не хочется, но и жить как будто надоело».

Публикация и перевод цитат А. Чернышева.

Культура. — 1994. — 2 июля. — С. 4.

ПАМЯТНИК РУКОТВОРНЫЙ

Существует давняя добрая традиция — приходить на могилы дорогих людей в годовщину со дня их рождения или смерти. 15 июля люди придут к Чехову.

В каком состоянии могила писателя сейчас? Сравнительно невысокий памятник белого мрамора, утратившего свой первоначальный цвет, с поперечными и продольными трещинами, с темной доской, изображение на которой разглядеть очень трудно, без лампады, без навершия. У подножия памятника таблица с надписью: «Идет реставрация». Памятник был установлен в 1908 году. Фотография того времени позволяет сравнить первоначальный вид памятника с современным. Проектировал памятник по заказу Марии Павловны, сестры писателя, академик Л. М. Браиловский. Памятник напоминал северную часовенку, здесь, видимо, сказалось увлечение художника русским Севером. Чеканка на навершии и ограда повторяли несколько измененный рисунок на занавесе Художественного театра — волны текущей жизни, выполненный по эскизу А. С. Шехтеля.

Надо надеяться, что к 15 июля первый этап реставрации будет завершен. Обещают привести в порядок ограду, камень и установить копию медного навершия.

Пошлость и бескультурье как будто мстят Чехову. Известно, что на холодильном вагоне, в котором везли гроб писателя, была надпись «устрицы». Но это не все: в 1933 году прах его перенесли с так называемой старой территории Новодевичьего кладбища на территорию новую. Видимо, тогда же пропала лампада, медное чеканное навершие заменено железным, а железо оказало разрушающее, вредное воздействие на мрамор, была закрашена икона, укрепленная на памятнике. Может быть, эти изменения были внесены и позже.

Еще в 1985 году работники Дома-музея Чехова и Чеховская комиссия АН РФ обратили внимание на неблагополучное состояние памятника. Забили тревогу. Обследование показало: камень не только потрескался, потерял цвет, но что главное — ушел в землю на 70 сантиметров. Надо было срочно спасать могилу. Началась переписка с различными инстанциями — ведь на реставрацию нужны деньги, и немалые. Чеховская комиссия — министру культуры. Министр культуры — в Комитет по охране памятников. 24 марта 1993 года в доме-музее состоялась конференция, посвященная тому же вопросу. На ней присутствовали представители многих организаций. Все понимали — помочь надо. Желание есть, а денег нет.

Председатель Чеховской комиссии В. Лакшин и О. Ефремов через печать обратились к общественности. 25 февраля 1994 года деятели культуры через газету «Известия» обратились к российскому президенту. Несколько раньше академик Д. Лихачев отправил письмо мэру Москвы.

На сигнал бедствия немедленно отреагировал Комитет по охране памятников. Главный специалист комитета В. Панкратов, кандидат технических наук Е. Боколярова собрали группу энтузиастов. Они сразу взялись за обследование памятника, составление сметы, консультации. Все это делали, не получая денег, на одном энтузиазме. Ю. Лужков также быстро откликнулся на письмо Д. Лихачева.

Помогая реставраторам, кропотливейшую работу провели работники дома-музея: не сохранилось никакой документации по установке памятника, его переносу и возможной реставрации. И вот по крохам, изучая переписку близких Чехову лиц, по газетам и журналам того времени сотрудники музея нашли кое-что для реставраторов. Так узнали, что на иконе, сейчас густо закрашенной, было изображено на голубом фоне Распятие, узнали о медном чеканном навершии.

Сейчас изготовлена копия медного навершия, идут работы на камне. Но самое трудное впереди. Чтобы поднять камень, извлечь его из земли, необходимы дорогостоящие дренажные работы. Они необходимы и для сохранения соседних могил, где похоронены артисты Московского Художественного театра, первые исполнители ролей в пьесах Чехова, исполнители, которых он видел. На обращение деятелей культуры с просьбой о денежной помощи откликнулись пока немногие (это ведь не конкурс красавиц, не какое-нибудь громкое шоу, не очередная презентация). С благодарностью говорят работники музея о помощи актрисы Анастасии Вертинской, об Истринской школе имени Чехова, устроившей вечер и собравшей таким образом 50 тысяч рублей. Прислали деньги 170-я школа Москвы, Липецкий театр имени Л. Толстого, театр С. Арцибашева на Покровке (Москва), обещает помочь администрация Липецкой области.

Пользуемся случаем напомнить расчетный счет:

Ассоциация друзей музеев А. П. Чехова, расчетный счет в отделении «Кредит-Искусство» Мосбизнесбанка субкорсчет № 1161190 в РКЦ ГУ ЦБ России по городу Москве МФО 201791 Код 83, субкорсчет 169309 в ОПЕРУ Мосбизнесбанка МФО 299093 Код 2 С.

Состояние кладбищ, отношение к могилам и памятникам ушедших от нас, и особенно тех, чьи имена олицетворяют славу и гордость народа, свидетельствуют об уровне культуры и нравственности страны, государства.

Кстати, единственный памятник Антону Павловичу Чехову в Москве — это памятник на его могиле.

Е. ЛЮБУШКИНА.